

Дмитрий Андреевич Фурманов

ЧАПАЕВ

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Ф95

Фурманов, Д. А.

Ф95 Чапаев / Д. А. Фурманов. – М. : Т8RUGRAM, 2018. –
196 с.

ISBN 978-5-521-78861-3

Дмитрий Андреевич Фурманов – один из самых известных писателей советской эпохи, комиссар 25-й стрелковой дивизии, которой командовал В. И. Чапаев. Будучи участником гражданской войны, Фурманов написал два документально-художественных романа: «Мятеж» и «Чапаев».

Роман «Чапаев» посвящён легендарному герою гражданской войны – Василию Ивановичу Чапаеву. В книге рассказывается о последнем годе жизни прославленного комдива, описываются бои за Сломинскую, Пилугино, Уфу, а также гибель Чапаева в битве у Лбищенска.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC004000

ISBN 978-5-521-78861-3

© Т8RUGRAM,
оформление, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Рабочий отряд	5
II. Степь	15
III. Уральск	25
IV. Александров-Гай	31
V. Чапаев	37
VI. Сломихинский бой	47
VII. В пути	67
VIII. На Колчака	81
IX. Перед боями	89
X. В Бугуруслан	97
XI. До Белебея	117
XII. Дальше	139
XIII. Уфа	153
XIV. Освобождение Уральска	165
XV. Финал	171
Примечания	195

I. Рабочий отряд

На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка по перрону чуть держит оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, с заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью: многие только впервые надели солдатскую шинель; сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается, как тесто в квашне. Но что ж до того — это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами! Посмотри, как этот «в рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот — с молодежаватой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом — пару бутылочных бомб, как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнонуться друзьям, родным и знакомым в этаким грозном виде.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могучая черная рабочая толпа.

— Научатся, браток, научатся... На фронт приедут — там живо сенькину мать куснут...

— А што думал — на фронте тебе не в лукошке кататься...

И все заерзали, засмеялись, шеями потянулись вперед.

— Вон Терентия не узнаешь, — в заварке-то мазанный был, как фитиль, а тут поди тебе... Козырь-мозырь...

— Фертом ходит, што говорить... Сабля-то — словно генеральская, ишь таскается.

— Тереш, — окликнул кто-то смешливо, — саблю-то сунь в карман — казаки отымут.

Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью.

— Мать возьмет капусту рубить...

— Запнешься, Терешка, переломишь...

— Пальчик обрежешь... Генерал всмятку!

— Ага-га... го-го-го. Ха-ха-ха-ха-ха...

Терентий Бочкин, — ткач, парень лет двадцати восьми, веснушчатый, рыжеватый, — оглянулся на шутки добрым, ласковым взором, чуть застыдился и то-ропливо ухватил съехавшую шашку...

— Я... те дам, — погрозил он смущенно в толпу, не найдясь, что ответить, как отозваться на страстный поток насмешек и острот.

— Чего дашь, Тереша, чего?.. — хохотали неумные остряки. — На-ко семечек, пожуй, солдатик божий. Тебе шинель-то, надо быть, с теленка дали... Ага-га... Ого-го...

Терентий улыбочиво зашагал к вагонам и исчез в серую суетную гущу красноармейцев.

И каждый раз, как попадал в глаза нескладный, — его вздымали на смех, поливали дождем ядовитых насмешек, густо просоленных острот... А потом опять ползли деловые, серьезные разговоры. Настроение и темы менялись с

быстротой, — дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе гнездились пересуды:

— Понадобится — черта вытащим из аду... Скулили все — обулись не во что, шинелей нету, стрелять не знаю чем... А вон она — ишь ты... — И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь ведет про красноармейцев. — Почитай, тыщу целую одели...

— Сколько, говоришь?

— Да, надо быть, тыща, а там и еще собирается — и тем все нашли. Захочешь, найдешь, брат, чесаться тут некогда — подошло время-то он какое...

— Время сурьезное — кто говорит, — скрепляла хриплая октава.

— Ну как же не сурьезное. Колчак-то, он прет почему зря. Вишь, и на Урале-то нелады пошли...

— Эхе-хе, — вздохнул старина — маленький, шупленький старичок в кацавейке, зазябший, уморщенный, как гриб.

— Да... Как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало, — пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

— Кто ж их знать может: дела сами не ходют, водить их надо. А и вот тебе первое слово — тыща-то молодцов!.. Это, брат, *д е л о* — и большое дело, большое!.. Слышно в газетах вон — рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек — он толковее будет другого-прочего... К примеру, недалеко ходить — Павлушку возьмем, Лопаря, — каменный, можно сказать, человек... и голову имеет — не пропадет небось!

— Кто говорит, известно...

— Да не то что мужики, — ты, вон она, на Марфушку на «Кожаную» глянь, тоже не селедка-баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услышав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая, — она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одета в новый солдатский костюм: штаны, сапоги, гимнастерка, волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — подошла она.

— Чего тебя тревожить, Марфуша, — сама придешь. Говорю, мол, не баба у нас «Кожаная», а кобыла бесседельная...

— То есть я-то кобыла?

— Ну, а то кто? — И вдруг переменял шутиливый тон. — Говорю, что на войну ты крепко подошла... Вот что!

— Подошла — не подошла: надо...

— Ясное дело, что надо... — Он минутку смолчал и добавил: — Ну, а *т а м* — как?

— Чего — *к а к*?

— Дела всякие свои?

— Што ж дела... — развела руками Марфуша. — Ребят в приюты посовала, куда их деешь?

— Куда деешь... — посочувствовал и собеседник.

И, передохнув трудно, сказал соболезнующим грудным дыхом:

— Ну, похраним, похраним, Марфуша, а ты не терзайся: похраним... Поезжай

спокойная, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать?.. Придет, може, время — и мы тогда... а?

— Так вот же... — кивнула Марфа, — да и вернее всего, што так оно будет... на одном отряде разве можно смириться?.. Беспременно будет.

— И ребята, кажись, тово, — мотнул собеседник на вагоны.

— Чего ж им, — ответила Марфа, — только бы ехать, што ли, скорей: ждать, говорят, надоело. Ехать и ехать — одно слышать, чего толшиться?.. Э-гей, Андреев! — окликнула Марфа кого-то из проходивших. — Насчет отправки чего там балачут?

Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, двадцатитрехлетний юноша с густыми, темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с коммунаркой на голове, в истертой коричневой шинелишке, — это Андреев! Подходит четким шагом, точно на доклад; поравнялся, шелкнул в каблуки, взял под козырек и, без малейшей усмешки глядя в упор на Марфу чудесными серьезными глазами, — отрапортовал:

— Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок минут!

Марфа дернула за рукав:

— Прощаться-то будем али нет? Ребята ждут, — слово бы надо прощальное, што ли... Где Клычков? Куда он там запропастился?

Андреев снова вскинул под козырек и тем же невозмутимым тоном отчеканил:

— Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство!

Марфа ударила по руке:

— Брось ты, черт, обалдел, што ли? На вот, генерала себе какого нашел...

Он вмиг перетрепнулся и к Марфе чистым, звонким, «своим» голосом:

— Марфочка...

— А?

— Марфочка, — ты сама-то... гм!

Андреев скорчил выразительную рожу, скомкав губы, вылупив глаза.

— Чего ето? — поглядела на него Марфа.

— Отчекрыжишь, поди, што-нибудь?

Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой:

— Да вон и сами идут, надо быть...

Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окруженные тесным кольцом. Отчетливый выделялся Лопарь — с черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел и брался, словно сам себе ногой на ногу наступал, — вихлястый такой, нескладный.

С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за ясные мысли, за голос красивый и крепкий, что слышали так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке — повязана платком; не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке, — это в январские-то морозы! На бледном строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость.

С Еленой рядом — Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий; он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил,

как птица, тем, что добудет. Был в студентах. В революции быстро нащупал в себе хорошего организатора, а на собраниях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала громким шепотом:

— Сейчас, надо быть, говорить станут.

— Отправляться скоро...

— Да уж раскланяться бы, што ли, — спать пора.

— А вот расцалуемся — и крышка.

— Слышь, звонок.

— Первый, што ли?

— Первый.

— В двенадцать трогать зачнут...

— В самую, вишь, полночь так и норовят!

Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с плешивыми, облезлыми воротниками, с короткими рукавами, потертыми локтями; черные коротышки-тужурки — драповые, суконные, кожаные. Стильная толпа!

Вокзал неширок, народу вбирает в себя мало. Кто посмышленнее — зацепились за изгородь, влезли на подоконники, многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, таращили глазами по толпе, скрючившись, висли на дверных скобах, цепляясь за карнизы. Иные заняли проходы, умостились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка. Каждому охота продрасть вперед, поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, побряхтывают, поругивают, побраниваются. Вот на ящике показался Клычков, — шинелишка старая, обтрепанная: она унаследовалась от *т о й* войны. Без перчаток мерзнут руки — он их то и дело сует в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткие кулаки. Нынче лицо у Федора бледней обыкновенного: две последние ночи мало и плохо спал, днями торопился, много работал, затомел. Голос, такой всегда чистый и звучный, — глуховат, несвеж, гудит словно из пещеры.

Клычкову дали первое слово — он будет от имени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерзла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть кратки!

Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы, — они, концы, были где-то за площадью, освещенной в газовые рожки. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за теми — новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться.

«Увижу ли?.. Вернусь ли?.. Да и все вернемся ли когда в родные места?.. Приду ли еще когда и стану ли говорить, как говорил столь часто в эти годы?»

Переполненный скорбным чувством разлуки, не успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет оно, Клычков крикнул как-то особо громко — так он не кричал никогда:

— Товарищи рабочие! Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки — и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте! Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников,

шлите, что сможете, от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно — труднее, чем здесь. Этого не забывайте! А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод, — не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях... Но стократ тяжелей будет вынести муку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые... И еще вам одно слово на разлуку: работайте! дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что, чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских оренбургских снежных степях, — везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

Словно буйным бураном завывла снежная степь, — толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...

И когда смолкли — остановилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком:

— Елена... Елена вышла... Куницына...

На ящике выросла Елена Куницына. Были густы и вовсе черны светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движеньем руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платком, а платок обеими руками плотно примяла к голове.

И сказала негромко, словно сама себе:

— Товарищи!

Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа.

— Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка — вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно — ништо не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет — какая она будет война? Мы не зря, рабочие-то, два эти года мучились — али зазря, али понапрасну? Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, и мы идем, женщины: нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти — вот вам и весь сказ! Женщины — матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги — все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей тысячеустая грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово:

— Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! Ну и баба — чисто машина работает!

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масленную кепку, в валяные сапоги — старый ткач. Морщинилось темными глубокими полосами иссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы. По мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости:

— Да, мы ответим... ответим... — Он замялся на миг и вдруг обнажил сивую, оседлую голову. — Собирали мы вас — знали на што! Всего навидаетесь, всего испытаете, может, и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши, — ничего, что тяжело, — скажем как раз: ступайте! Коли надо идти — значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить, — то-то оно, дело-то! А в самые што ни есть плохие дни и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже за руку даем: детей не оставим, жен не забудем, помочь какую ни есть, а дадим! Известно, дадим — на то война. Нешто можно без того...

Старик степенно развел руками и грустно внятно чмокнул: все равно-де, выходу нет иного!

Потом он минуту постоял, обождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кепку на сивую жидковолосую голову и — вовсе готовый уйти — крикнул слышным, резким голосом:

— Прощайте, ребята... может, совсем...

Старый голос вздрогнул слезами, и слезная дрожь острым током секанула толпу...

— Может, тово... Всего бывает. Мало ли што, война-то... Она тово...

И в темные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слезы. Грязным рукавом кацавейки он слезы мазал по лицу. Многие плакали в толпе. Другие кричали спускавшемуся вниз ткачу:

— Верно, отец! Правильно!! Правильно, старина!

Старик сошел. Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в останний раз на ящик:

— Ну, прощайте! Еще раз прощайте, товарищи! За нашу встречу, за счастливую будущую встречу: ура!

— Ура... ура... ура!!!

И чуть стихло — команда:

— Отряд, по местам!

Замелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, защелкали прощальные поцелуи. Поплыли торопливым залихватым гудом напутственные речи, степенные советы, печальные просьбы, напрасные утешенья.

На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова. Слезы замочили серое лицо. Стонала, всхлипывала, плакала рокотно какая-то одна половинка, — другая остыла, серьезная, крепкая и смолкшая в задумье.

Отряд в вагонах. Ближе примкнула толпа, — она из вагонных окон отлилась сплошной безликой массой. Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь — тысячапалый, тысячеглазый, податливый, как медведь-мохнач.

Третий звонок...

Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачатила, задышала, лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули на съеме, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатались...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь...

Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном январском холоду расходились со станции по домам ткачи.